

На пути

Ночевала тучка золотая

На груди утеса великана...

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет проезжающей, то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутый в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в проезжающей, но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платьице и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, всё тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

Проезжающая имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевывытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки и в углу, над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна, и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, таращивший глаза и шептавшей что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врывалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали и огонь, как цепной пес, со злобой неся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, проезжающая, казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоровой рубашке. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эддина, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

Папа! сказала она.

Но мужчина не двигался. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, стряхивая с себя снег, глухо затопал валяными сапогами.

Чиво? лениво спросил женский голос.

Барышня Иловайская приехала... отвечал бас.

Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно, хромой мальчик, подбежал к двери, которая вела в проезжающую, почтительно кашлянул и тронул щеколду.

Сюда, матушка-барышня, пожалуйста, сказал певучий женский голос, тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже

покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахло сыростью, как из погребов, и огонь свечи заколебался.

Какие глупости! сказал сердито узел. Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, всё больше лесом, и не заблудились бы...

Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! отвечал кучер. И господи твоя воля, словно я нарочно!

Бог знает куда привез... Но тише... Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших, тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась всё сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменил к девочке.

Ты не спишь, дружок? спросил он извиняющимся голосом. Чего ты хочешь? Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и бог тебя

накажет! Вот увидишь, что накажет!

Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружочек? сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами. Это, Саша, у тебя от дороги болит плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

Но, дружочек, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала вьюга, то я не виноват.

Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу!

Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожала плечами и нерешительно подошла к Саше.

Послушай, милая, сказала она, зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

Видите ли, сударыня, быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь, мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель всё время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутил головой, махнул рукой и сел.

Конечно, не следует плакать, сказала брюнетка. Это только грудные дети плачут. Если ты больна, милая, то надо раздеться и спать... Давай-ка разденемся!

Когда девочка была раздета и успокоена, опять наступило молчание.

Брюнетка сидела у окна и с недоумением оглядывала трактирную комнату, образ, печку... По-видимому, ей казались странными и комната, и девочка с ее толстым носом, в короткой мальчишеской сорочке, и девочкин отец. Этот странный человек сидел в углу, растерянно, как пьяный, поглядывал по сторонам и мял ладонью свое лицо. Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтоб он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Погладив себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал:

Комедия, ей-богу... Смотрю и глазам своим не верю: ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить? Жизнь выделявает иногда такие salto mortale¹, что только гляди и в недоумении глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ехать?

Нет, недалеко, ответила брюнетка. Я еду из нашего имения, отсюда верст двадцать, в наш же хутор, к отцу и брату. Я сама Иловайская, ну и хутор также

называется Иловайским, двенадцать верст отсюда. Какая неприятная погода! Чего хуже!

Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок. Ты бы, хлопче, самоварчик нам поставил! обратился к нему мужчина.

Кто ж теперь чай пьет? усмехнулся хромой. Грех до обедни пить.

Ничего, хлопче, не ты будешь гореть в аду, а мы...

За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым, что он родной брат тому самому Лихареву, который в одном из соседних уездов служит предводителем, и сам был когда-то помещиком, но своевременно прогорел. Лихарев же узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной, что именье у ее отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы, беспечны и слишком любят борзых.

Отец и брат на хуторе одни-одинёшеньки, говорила Иловайская, шевеля пальцами (в разговоре у нее была манера шевелить перед своим колючим лицом пальцами и, после каждой фразы, облизывать острым язычком губы), они, мужчины, народ беспечный, и сами для себя пальцем не пошевелинут. Воображаю, кто даст им разговеться! Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постеляют. Можете теперь представить их положение! Они останутся без разговенья, а я всю ночь должна здесь сидеть. Как всё это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала:

Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что бога нет, а на Пасху первый бежит к заутрене.

Лихарев поднял глаза на Иловайскую и засмеялся.

Толкуют, что бога нет, продолжала Иловайская, тоже засмеявшись, но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, под конец жизни веруют?

Кто, сударыня, в молодости не умел верить, тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева был бас, но, вероятно, из боязни говорить громко или из излишней застенчивости, он говорил тенором. Помолчав немного, он вздохнул и сказал:

Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она всё равно что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени. Русская жизнь представляет

из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

Лихарев принял от Иловайской чашку с чаем, отхлебнул сразу половину и продолжал:

Я вам про себя скажу. В мою душу природа вложила необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал. Все таланты обнаруживаются обыкновенно в раннем детстве, так и моя способность давала уже себя знать, когда я еще под столом пешком ходил. Моя мать любила, чтобы дети много ели, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: Ешь! Главное в жизни суп! Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел как акула, до отвращения и обморока. Рассказывала нянька сказки, и я верил в домовых, в леших, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтоб, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать губерния! Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтоб они меня мучили за Христа. И заметьте, вера у меня была всегда деятельная, не мертвая. Ежели я в Америку убегал, то не один, а совращал с собой еще кого-нибудь, такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой и когда меня пороли; ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей.

Беспокойнейшее детство, я вам доложу! А когда меня отдали в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того, что земля ходит вокруг солнца, или что белый цвет не белый, а состоит из семи цветов, закружилась моя головушка! Всё у меня полетело кувырком: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Мое прозрение вдохновило меня. Как шальной, ходил я по дому, по конюшням, проповедовал свои истины, приходил в ужас от невежества, пылал ненавистью ко всем, кто в белом цвете видел только белое... Впрочем, всё это пустяки и мальчишество. Серьезные же, так сказать, мужественные увлечения начались у меня с университета. Вы, сударыня, изволили где-нибудь окончить курс?

В Новочеркасске, в Донском институте.

А на курсах не были? Стало быть, вы не знаете, что такое науки. Все науки, сколько их есть на свете, имеют один и тот же паспорт, без которого они считают себя немислимыми: стремление к истине! Каждая из них, даже какая-нибудь фармакогнозия, имеет своею целью не пользу, не удобства в жизни, а истину. Замечательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то вас прежде всего поражает ее начало. Я вам скажу, нет ничего

увлекательнее и грандиознее, ничто так не ошеломляет и не захватывает человеческого духа, как начало какой-нибудь науки. С первых же пяти-шести лекций вас уже окрыляют самые яркие надежды, вы уже кажетесь себе хозяином истины. И я отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплуатировали науку ради личных целей. Но я не долго увлекался. Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, всё равно, как у периодической дроби. Зоология открыла 35 000 видов насекомых, химия насчитывает 60 простых тел. Если со временем к этим цифрам прибавится справа по десяти нолей, зоология и химия так же будут далеки от своего конца, как и теперь, а вся современная научная работа заключается именно в приращении цифр. Сей фокус я уразумел, когда открыл 35 001-й вид и не почувствовал удовлетворения. Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями, черными переделами и всякими штуками. Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаюсь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его бога, в язык, творчество... И так далее, и так далее... В свое время был я славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украинофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества... увлекался я идеями, людьми, событиями, местами... увлекался без перерыва! Пять лет тому назад я служил отрицанию собственности; последней моей верой было непротivление злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней.

Дружочек мой, не хочешь ли чаю? спросил он нежно.

Пей сам! грубо ответила девочка.

Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу.

Значит, вам весело жилось, сказала Иловайская. Есть о чем вспомнить.

Ну да, всё это весело, когда сидишь за чаем с доброй собеседницей и болтаешь, но вы спросите, во что мне обошлась эта веселость? Что стоило мне разнообразие моей жизни? Ведь я, сударыня, веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Судите вы сами. Был я богат, как братья, но теперь я нищий. В чаду увлечений я ухлопал и свое состояние и женино массу чужих денег. Мне теперь 42 года, старость на носу, а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя беспрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я

изнывал от тяжкого беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям... вспоминать больно! Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем... Моя мать вот уже 15 лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву.

Лихарев поднялся и опять сел.

Если б я был только несчастлив, то я возблагодарил бы бога, продолжал он, не глядя на Иловайскую. Мое личное несчастье уходит на задний план, когда я вспоминаю, как часто в своих увлечениях я был нелеп, далек от правды, несправедлив, жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал тех, кого следовало бы любить, и наоборот. Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не сделал зла, но нечиста моя совесть!

Сударыня, я не могу даже похвастать, что на моей совести нет ничьей жизни, так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я изнурил своею бесшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтоб доказать, что женщина ниже мужчины, ищут ее недостатков, чтоб глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность.

Другие же из всех сил стараются поднять женщину до себя, т.е. заставить ее зазубрить 35 000 видов, говорить и писать те же глупости, какие они сами говорят и пишут...

Лицо Лихарева потемнело.

А я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины, заговорил он басом, стукнув кулаком по столу. Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил всё, что ему угодно. Господи боже мой, из-за грошового мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! Черепов я не измерял, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая всё, что я хотел; из монашенки я сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения.

Лихарев вскочил и заходил по комнате.

Благородное, возвышенное рабство! сказал он, всплескивая руками. В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за всё время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение...

Лихарев сжал кулаки, уставился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы: Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впиалась глазами в его лицо. По слезам, которые блестели на его ресницах, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щек для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения или, как сам он говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего. Жестикуюлируя, сверкая глазами, он казался ей безумным, исступленным, но в огне его глаз, в речи, в движениях всего большого тела чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замечая, стояла перед ним, как вкопанная, и восторженно глядела ему в лицо.

А возьмите вы мою мать! говорил он, протягивая к ней руки и делая умоляющее лицо. Я отравил ее существование, обесславил, по ее понятиям, род Лихаревых, причинил ей столько зла, сколько может причинить злейший враг, и что же? Братья выдают ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию! Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, умные слова, 35 000 видов! Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хоть бы вас взять! На дворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу, чтобы в праздник согреть их лаской, хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на северный полюс пойдете. Ведь пойдете?

Да, если... полюблю.

Вот видите! обрадовался Лихарев и даже ногою притопнул. Ей-богу, так я рад, что с вами познакомился! Такая добрая моя судьба, всё я с великолепными людьми встречаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. На этом свете хороших людей гораздо больше, чем злых. Вот

подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрытничаешь, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покался вам, как никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихарев прошелся по комнате и опять заговорил о женщинах. Между тем зазвонили к заутрене.

Господи! заплакала Саша. Он своими разговорами не дает мне спать!

Ах, да! спохватился Лихарев. Виноват, дружочек. Спи, спи... Кроме нее, у меня еще двое мальчиков есть, зашептал он. Те, сударыня, у дяди живут, а эта не может и дня продышать без отца. Страдает, ропщет, а липнет ко мне, как муха к меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вам не мешало отдохнуть. Не угодно ли, я сделаю вам постель?

Не дожидаясь позволения, он встряхнул мокрый салоп и растянул его по скамье, мехом вверх, подобрал разбросанные платки и шали, положил у изголовья свернутое в трубку пальто, и всё это молча, с выражением подобострастного благоговения на лице, как будто возился не с женскими тряпками, а с осколками освященных сосудов. Во всей его фигуре было что-то виноватое, конфузливое, точно в присутствии слабого существа он стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, он потушил свечку и сел на табурет около печки. Так-то, сударыня, шептал он, закуривая толстую папиросу и пуская дым в печку. Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие... Да-с...

Иловайская удивленно вглядывалась в потемки и видела только красное пятно на образе и мелькание печного света на лице Лихарева. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропщущая Саша, несчастный Лихарев и его речи всё это мешалось, вырастало в одно громадное впечатление, и мир божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. Всё только что слышанное звучало в ее ушах, и жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца.

Громадное впечатление росло и росло, заволокло собой сознание и обратилось в сладкий сон. Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

Дорогой папа, нежно умолял детский голос, вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

Дружочек мой, что же я могу сделать? убеждал тихий мужской бас. Пойми

меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная ком-пата с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно редела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей, ты, хлопчик маненький,
Бери ножик тоненький,
Убьем, убьем жида,
Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во всё лицо и подошел к ней. Она тоже улыбнулась.

С праздником! сказал он. Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

Ну, мне пора ехать, сказала она. Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

Я-с? На станцию Клипушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева 40 верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

В управляющие. Шахтами управлять.

Не понимаю! пожала плечами Иловайская. Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот...

Вы и жалованья не будете получать!

Всё равно, сказал равнодушно Лихарев. И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и в волнении заходила по комнате.

Не понимаю, не понимаю! говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами. Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, господи, горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело. Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

Нет, нет, вам туда нельзя ехать! сказала она, быстро водя пальцем по стеклу. Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропащий, заброшенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошла она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман. За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом, стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Невесело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз проезжающую, постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее....

А на дворе всё еще, бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места. Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, всё было бело и казалось мягким, пушистым.

Ну, дай бог вам, бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. Не поминайте лихом...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочесть этот взгляд или, быть

может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолие и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его всё еще искали чего-то в облаках снега. смертельные прыжки (лат.).